

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

НАТАША

Николай Георгиевич Гарин- Михайловский Натasha

Аннотация

«– Ничего подобного я не ожидал. Знал, конечно, что нужда есть, но чтоб до такой степени... После нашего расследования вот что оказалось: пятьсот, понимаете, пятьсот, учеников и учениц низших училищ живут кусочками...»

Содержание

I	4
II	10
III	15

Николай Гарин- Михайловский

Наташа

Другу униженных и оскорблённых Якову Львовичу Тейтелю в день его двадцатипятилетней общественной деятельности.

I

– Ничего подобного я не ожидал. Знал, конечно, что куда есть, но чтоб до такой степени... После нашего расследования вот что оказалось: пятьсот, понимаете, пятьсот, учеников и учениц низших училищ живут кусочками... Это вот те кусочки, – что подают нищим, их, в свою очередь, скупает у этих нищих разного рода рабочий городской люд: всевозможные сторожа, почтальоны, почтовые и телеграфные служители, разная мелкота, получающая в месяц 10, 11, 12 рублей. В среднем семья в пять человек живёт на эти деньги... в сырой, подвальной комнате, – с окошечком наверху, с промозглым до тошноты воздухом и грязью, о какой трудно себе составить представление, если не видел её воочию, – живёт две, три, а то и четыре таких семейки... У детишек нет сапог, нет платья, – верхней одежды... Что тут можно сделать

на наши 800 рублей?! Если бы даже по десяти рублей дать на семью, то ведь и эти деньги в общей нужде и задолженности уйдут бесследно. Может быть, со временем, – но теперь ясно, что с нашими 800 рублями с головой погибнем, если сунемся. Поневоле пришлось ограничиться. Выбрали прямо по жребию 50 детей. Помощь только детям, вырезывая их, так сказать, из остальной семьи. Пусть хоть эти пятьдесят будут: первое – сыты, второе – одеты, третье – обуты. Договорились с сапожником и мастерской для платья: к ним являются с ярлыками дети и им шьют сапоги, ботинки, пальто, штанишки, рубашки, юбки, что там в ярлыке значится. Относительно сытости вот как устроились: у Антона Павловича...

– О-го, Антон Павлович?!

– Да, Антон Павлович, – в его приюте оказалась старая кухня: он велел её побелить, покрасить, наделать скамеек и вот сегодня через полчаса первое открытие ученической столовой. Угодно посмотреть?

Всё это ровным, грубоватым голосом говорил с физиономией мужика, Молотов по фамилии, крупный, кражистый, лет под сорок, человек.

Говорил молодому господину с усиками, с чёрными, озабоченными, напряжёнными глазами.

– Я с большим бы удовольствием, да времени нет...

С усиками господин нервно вынул часы, посмотрел и торопливо, сдержанно пожав руку Молотову, вышел из банка.

Молотов добродушно усмехнулся ему вслед. Он повернулся к девушке, работавшей за ближайшей конторкой и заговорил:

– Ворочает миллионами, – в этих миллионах вертится, как в бочонке, набитом гвоздями, и в конце концов...

Он перебил себя и проговорил, ни к кому не обращаясь:

– Ну, однако, нечего болтать зря, а ехать, а то как раз после обеда приедешь.

Он мотнул головой и рассмеялся:

– Заварили кашу, сунулись с 800 рублями, пропадём и с потрохами.

Он уже совсем пошёл было, возвратился и сказал с напряжением и горячностью:

– Вы понимаете, обед три копейки, – всех 500 накормить, – 15 рублей в день. С сапогами, юбками, рубашками, пальтишками на всех – тысячу рублей в месяц. В городе, где больше 100 тысяч жителей, в городе миллионеров, в городе с оборотом в 200 миллионов, в городе, где театр в сезон выручает шестьдесят тысяч рублей! Вы понимаете, тысяча рублей в месяц?! Копейка с каждого жителя! Неужели не найдётся в городе тысяча интеллигентных семейств, где все эти скучающие, не знающие, что с собой делать дамы, не урвали бы из своего обихода рубля в месяц, не сбегали бы сами к таким голодным, не отправили бы туда когда-нибудь испорченное жаркое, недоеденную булку, старое платье...

Он совсем рассердился, напряжённо остановился, точно

ждал ответа и, вдруг опять рассмеявшись, благодушно сам себе ответил:

– Ладно... мёртвой клешнёй вопьюсь, а уж притянем всех...

И громадный, сутуловатый, твёрдый, похожий на молот, он пошёл к выходу.

Уходя; он добродушно, тем же голосом, каким говорил с господином с усиками, с девушкой, с самим собой, сказал швейцару:

– Вот чего... станут меня спрашивать – через полчаса буду...

– Куда? – спросил его извозчик.

– Постой: куда же? – переспросил, уставившись на извозчика, Молотов, – да вот... Ну, поезжай прямо: буду показывать...

В столовую приехал Молотов вместе с подходившими ребятами, которых вели две взрослые девушки.

– Ну, валите, – скомандовал им Молотов, настезь растворя одностворную дверь столовой.

Старая кухня пахла свежей извёсткой, крашеными жёлтыми полами, зелёными скамьями. Для экономии места сидели на скамьях в два ряда спинами друг к другу.

– Будут толкаться, – заметил кто-то.

Не толкались. Несколько секунд стоял гул рассаживающихся и потом все сразу стихли и напряжённо смотрели.

Запах щей наполнил комнату, ломти ситного хлеба раз-

носили и раскладывали перед каждым прибором. Затем началась еда. Четыре ведра щей, 30 фунтов хлеба в шесть минут, – Молотов смотрел по часам, – исчезли в маленьких желудках.

В каком-то особом настроении, проглотив свою порцию, сидела Наташа. Горячая вкусная пища согрела её, как греет только очень голодных, – согрела и опьянила. Было хорошо, легко, хотелось ещё есть. А в кармане лежал ярлык на полу-сапожки и на юбку. Ей хотелось смеяться, говорить, прыгать.

– Ну, наелись? Ступайте в мастерскую.

И толпа с тем же гулом повалила к дверям.

– Тебе сколько лет? – провёл рукой по голове Наташи Молотов.

– Десять.

– А звать?

– Наташа.

– Молодец. А тебе?

Вопрос относился к бутузу. Он шёл сосредоточенный, с выражением человека, сделавшего очень хорошую, неожиданную сделку, уже с реальным результатом: хлеб и щи были в брюхе, а ярлык на сапоги в кармане. Дали щей, дадут, значит, и сапоги. Что всё остальное было пред этим?

Он на ходу бросил Молотову:

– Девять.

– А звать-то тебя?

– Карась, – недовольным басом ответил уже издали бутуз.

И всем стало вдруг весело, – смеялись большие, дети, смеялись и на улице, и когда пришли в мастерскую. И сам Карась наконец рассмеялся, когда дали ему пару сапог, как раз пришедшихся ему по ногам.

Рассмеялся и самодовольно сказал:

– Карась? Вот тебе и Карась теперь...

И, тряхнув головой, он пошёл в новых сапогах так степенно, как будто всю жизнь в них ходил.

II

На Наташу готовых полусапожек не нашлось, с её ножки сняли мерку и велели придти через три дня. Юбку обещали через два дня.

Наташа пошла домой.

Ах, как было хорошо. Точно поднимало её что-то. И так тепло. Сказали, что и полупальтик сошьют ей потом. Полупальтик, юбка, полусапожки, всё это кружилось в её голове, как кружились снежинки вокруг, но так весело и легко, точно и она сама была такой же снежинкой, – светлой, яркой в разноцветных огнях.

То – огни из лавок, потому что уже стемнело и в лавках зажгли огни, и в этих огнях кружат и сверкают снежинки, пока мягко, как пух, не упадут на землю, на платье, на голову, на ресницы. И когда прищурить глаза с такими ресницами в снежинках, то кажется, что светлые ниточки выходят из глаз: золотые, красные, лиловые... А там в окнах сколько вещей, каких никогда и не видала Наташа. И этой улицы не видала, этого большого фонаря над магазином, в котором, как в молоке, красный тусклый огонёк в середине.

Пришла и домой Наташа и всё такая же была: ничего не видала, не слышала и всё ещё где-то ходила, где светло, где снежинки, где полусапожки, полупальтики, юбки, а завтра опять щи.

Пять маленьких братьев и сестёр обсади её кругом и смотрели, а мать говорила, кормя шестого:

– Что ты, красная да как пьяная, сидишь? Сама наелась, а хоть бы вспомнила об этих...

Она вспомнила: у неё в кармане кусок ситного, который за обедом она успела спрятать.

Мать удовлетворённо, стараясь незаметно, смотрела исподлобья, как оделяла Наташа всех ситником.

Маленькая горбатая сестра её, четырёхлетняя Аня, с чёрными, как уголь, глазами, горящими страхом, вечным предчувствием какого-то нового ужаса, взяла своими маленькими, тоненькими, как у обезьянки, ручонками кусочек доставшегося ей ситника и вертела его в ручонках, смотря и на него всё такими же глазами, как и на всё остальное. Потом она попробовала и, быстро съев, уставилась с тоской и ужасом на вошедшего телеграфиста – сторожа.

Что-то страшное сказал он, потому что мать вдруг бросила ребёнка в люльку и заломила руки. И все дети, хотя и ничего не поняли, вдруг сразу заревели, и даже Наташа пришла в себя. Не двигаясь с места, среди рёва и окриков матери, она одна из всех детей поняла в чём дело. Отец её, такой же телеграфный сторож-разносчик, как и пришедший, упал на улице и его отнесли в больницу, Отец был болен уже несколько дней, но всё перемогался, пока не свалился. Да ещё и напутал: какую-то телеграмму не туда занёс, там приняли её и отправили куда-то в деревню, а телеграмма оказалась к купцу

и принята с аппарата Юза, – копии-то и нет, – выйдет убыток тысяч в пять...

– Господи! – завопила в отчаянии мать, – да что ж я делать теперь с ними буду?!

– Никто, как Бог, – успокаивал пришедший, – может, выздоровеет, а, может, и не прогонят, – может, снесут назад прибавку за пятнадцатилетнюю службу, да оштрафуют и оставят на службе. А что ж отчаиваться?! Готовиться надо ко всему: пятнадцать лет прослужил, да в солдатах служил, когда-нибудь и помереть придётся... Если б на железной дороге служил, уже пенсию получал бы, а наше ведомство тоже ведь десяток-другой миллионов дохода даёт, всё от рук да ног, – можно бы и пожалеть эти руки да ноги, а не то что пенсии, а и жалованья нет нигде хуже, как у нас.

Мать слушала, слушала и крикнула на пришедшего:

– Да их-то, их, чем я кормить стану?! Ведь кусочка не на что купить завтра...

– Никто, как Бог... Роптать только не надо, – чтобы хуже не вышло.

– Какое ещё хуже тут может быть?!

Ушёл телеграфист. Дети ещё повыли и перестали и спят вповалку в грязных тряпках. Спит и Наташа, – жарко ей и душит её что-то во сне. Слегка проснётся, повернёт шею, – ломит шею и болит она, болит голова, точно вбили в неё что-то тяжёлое, как железо. И опять забудется и что-то страшное опять ей снится. А потом проснулась и стала плакать от боли.

Огня не было, мать прикрикнула:

– Ещё ты тут: спи, – пройдёт...

Ещё раз вскочила со сна Наташа и сиплым, безумным голосом быстро заговорила:

– Мамка, мамка, полусапожки готовы, надо бежать за ними...

Мать подняла голову, послушала, как тяжело дышала замолкшая опять Наташа, вспомнила о муже, прошептала тоскливо «о, Господи» и заснула до новых окриков каждого по очереди всех её семерых детей.

На утро, когда все проснулись, Наташа уже никого не узнавала. Горячая, вся в огне, она металась красная, с распухшей шеей, широко раскрытыми глазами...

Мать ушла в больницу навестить мужа, оставив семью на руках восьмилетней Сони. Аня сидела в углу и, маленькая, горбатенькая, угнетёнными глазами смотрела, нервно шевеля пальчиками.

Муж лежал на больничной койке под одеялом – как покойник – длинный, худой, истощённый, с бритым лицом гвардейского солдата. Он передал жене двадцать копеек, которые получил вчера за разноску телеграмм. Запёкшимися губами, постоянно переводя дыхание, он шептал:

– От того, с большими усами барина – десять, от Антонова пять, и ещё пять из гостиницы – новый...

Жена знала всех клиентов мужа.

– К тому барину сходи, через него и вышла путаница, про-

си, чтобы заступился перед начальством. Нельзя ли из деревни назад вернуть телеграмму?.. Скажи, копии не осталось: с аппарата Юза она, печатная... Скажи, не помогут ли тебе на хлеб, пока болею... в счёт полов... Выздоровею, опять буду натирать полы им, чтобы другим не сдавали... Поклонись в ноги... не забудь... об Наташе с сестрицей милосердной посоветуйся...

Посоветовалась, и к вечеру перевезли Наташу в больницу, – у неё оказался дифтерит. А на другой день перевезли в больницу и всех остальных детей, кроме грудного.

Всем остальным успели вовремя сделать прививку, а Наташа умерла.

Она лежала в своём жёлтом гробике тихая, задумчивая, покрытая новым куском коленкора. И муж поправился и опять понёс телеграммы, а остальная семья опять сидела в своём подвале, и маленькая Аня с глазами, полными ужаса, всё ждала, что ещё страшного принесёт с собой отворяющаяся дверь.

III

И всё опять пошло своим обычным чередом. Не совсем, впрочем, обычным.

– Сколько?! – кричал в столовой с весёлым ужасом Молотов, когда счёт прибывших обедать детей кончился.

– Девяносто девять.

– Ну, пропали и с потрохами... Вот что: садить их надо в два приёма. Порцию щей убавить вдвое, а послать ещё за пудом хлеба.

И обращаясь к пожилой женщине в очках, сказал:

– Это значит, что через неделю все пятьсот препожалуют.

И точно убеждая сам себя, он горячо заговорил:

– И ничего не поделаешь! Как отказать ему, когда он уже тут?

Он ткнул на ревившего бутуза, не попавшего в первую очередь и боявшегося, что так и не попадёт ему сегодня ничего в рот.

Молотов, добродушно глядя его по голове, скороговоркой говорил ему:

– Не плачь, не плачь, дадут и тебе...

И, махнув решительно рукой, он заговорил прежним тоном:

– И пусть все идут... Соберутся эти, а я тех, сытых, сюда приведу...

И, возбудившись вдруг, он весело закричал:

– А ей-Богу приведу... В этаким-то городе не найти тысячи рублей?! Шутки... По улицам буду бегать, буду кричать: караул! Помогите!!